

СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА

Без малого полвека назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий интересно. Часть этих записей за 1975-1999 годы я решил расшифровать. Так возникла книга «Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».

Стоит ли говорить, что я продолжаю свою стенографию и в новом тысячелетии? Некоторые записи последних лет показалось небезынтересно расшифровать, сгруппировав их вокруг заголовков и убрав даты. Так стала складываться новая книга «Стенография начала века», фрагменты которой – предлагаю читателям журнала.

Человек Филонова

Просматривал альбом Филонова, пытался сформулировать впечатление. Еще в молодости, до революции, сложился очень большой, мирового масштаба, художник. В 20-е годы вдруг соблазнился идеей аналитического, всеобъемлющего, единственно несомненного искусства, стал писать не картины, а «формулы». Беда русского сознания. И еще непрменная оглядка на «русское»: иконопись, этнографию, кустарные промыслы, это было у многих. Во Франции художники просто писали картины, интересовались африканским, японским, полинезийским искусством, но не французской стариной. Потом он от этого ушел, доделала свое дело советская система.

И вот после прекрасной выставки Филонова в Музее частных коллекций впечатление понемногу оформилось.

Кристаллы саморастущих домов, зыбь городской брусчатки
Грозит засосать человека, он сам становится зыбким,
Бескровным, бесполом телом. Смотрит пустыми глазами,
Ни с кем не встречаясь взглядом, потерянный, оцепенелый.
Все смотрят мимо друг друга, все друг от друга закрыты,
Отделены, отгорожены внешним покровом кожи,
Соседствуют, не общаясь, молчат каждый на своем языке
Или беззвучно вопят, открыв редкозубые рты.
Человечней, пожалуй, глаза у лошадей и коров.

Суть человека раскроешь, если проникнешь под видимость,
Вглубь дремучих переплетений под кожей,
выявишь химию мысли,
Которая рождается в голове, как запах в цветах, деревьях,
Вытекает наружу, затвердевает кристаллической формулой,
Способной преобразить этот мир.
Вязкая россыпь, калейдоскоп,
Праздник трагических красок,
Человек, растворенный в формуле.

Хармс и Беккет

Знаменитый финал одного из «Случаев» Хармса («Макаров и Петерсен»):

«Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания».

Прихотливая, необъяснимая, завораживающая фантазия. Почему вдруг шар?

Удивительную переключку я обнаружил в романе С. Беккета «Безымянный». Там персонаж-рассказчик пытается понять, кто он такой: «я, о котором я ничего не знаю». «Никакой бороды у меня нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный подробностей... И никаких непристойностей. Да и почему у меня должен быть половой орган, если нет носа? Отпало уже все, что торчит: глаза, волосы, без следа, упали так глубоко, что не слышно было звука падения, возможно, еще падают, волосы, медленно-медленно, оседают, как сажа, падения ушей я не слышал... Вот так, готово... я – большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует или, возможно, существует, как знать, да и неважно».

До чего это по-хармсовски звучит, даже подробности! («Уши его упали на пол, как осенью падают с тополя желтые листья». «*Страшная смерть*»). «Безымянный» написан в 1953 году, «Макаров и Петерсен» в 1934, «Страшная смерть» в 1935. Беккет знает Хармса, конечно же, не мог. Тут не простое совпадение – тут общность мышления у двух великих мастеров абсурда. Ходы абсурдной мысли не произвольны – в них есть своя логика, и на глубине она совпадает.

Сеновал Мандельштама

Вдруг становятся прозрачными стихи, еще недавно загадочные.

Я по лесенке приставной
Лез на включенный сеновал.

Я всегда любил залезать на сеновал, не раз ночевал там; запах свежееубранного сена, который вскидывал туда на вилах, мил моему сердцу. Но у Мандельштама сеновал «включенный», т. е. сено уже слежалось, пересохло, стебли трав покروшились.

Я дышал звезд млечной трухой,
Колтуном пространства дышал.

Чувствуется, каким трудным, астматическим становилось здесь его дыхание. Сенная труха, колтун, «склока» перепутанных, «сухоруких» трав враждебны мировой гармонии – «удлиненным» звучаниям, «эолийскому строю».

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит
Сеновала древний хаос
Защекочет, запоршит.

Возом называли иногда созвездие Большой Медведицы, оно и впрямь напоминает крестьянскую повозку. Но распряженный воз – это, возможно, еще и босховский «Воз сена», его тащат куда-то жуткие твари, из него спешат урвать хотя бы клочок беснующихся вокруг люди. На картине этот символ многозначен. Мандельштам чувствует жизненную необходимость сопротивляться хаосу, «строить лиру», «вернуться в родной звукоряд», где можно будет свободно дышать. Гармония не дается сама собой, требуется постоянное усилие: «Против шерсти мира поем» –

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.

Уход от постмодернизма

В альманахе «Вторая навигация» интересные материалы о кризисе постмодернистской концепции, которая была особенно влиятельной последние два десятка лет. Полячка Нина Витошек, профессор университетов в Осло и в Оксфорде, пишет: «Причина варварства – не в оплошности

культуры, а в отказе делать различия». Постмодернизм стирал границы между высокой и массовой культурой; казалось, что это освобождает и «депровинциализирует». Но в результате «все больше и больше кажется, что нет никакого различия между глупостью и мудростью: компетентность, правда и красота, как контактные линзы, находятся в глазах у наблюдателя... Как только они устранены и напряженность между сакральным и профанным исчезает, вместе с ними испаряется и смысл культуры в целом». Говорят о культуре применения наркотиков, культуре потребления, культуре насилия. «Культурной революцией Мао» называются события, которые привели к уничтожению примерно 20 миллионов человек, разрушению библиотек, сжиганию книг и т. д. Мы все еще называем это «культурной», а не «варварской» революцией. Такой «семиотический конфуз», по словам автора, приводит к тому, что все, включая варварство, определяется как культура. Постмодернистское размывание границ не только приводит к хаосу, но означает путь назад, к тоталитарной системе. Ведь «сущность советского тоталитаризма была как раз в отмене различий между правдой и ложью, историей и беллетристикой, глупостью и компетентностью, красотой и уродством... Одним из самых замечательных и недооцененных аспектов восстания против тоталитаризма является то, что он, тоталитаризм, по природе своей часто не эстетичен. Отвращение Томаса Манна к нацизму, например, носило печать отвращения, морального и эстетического». Мы думаем, что люди, угнетенные варварскими режимами, нуждаются лишь в одежде, лекарствах, пище; но одним из самых больших лишений для них является утрата достоинства и красоты.

Я что-то подобное пробовал сформулировать, полемизируя, например, с литературоведом М. Л. Не только эстетическое отталкивание – невольную тошноту вызывали у меня иные авторы, которых он восхвалял.

«Мусор есть мусор, но история мусора – наука», – цитирует Витошек американского философа Хаака. «Сегодня кажется, что мы, начав с истории и теории мусора, пошли дальше. Мы предпочитаем осторожное описание, безопасное резюме; интеллигенция стала «девственницей корректности». Чтобы культуре было возвращено ее значение, надо восстановить в правах «ряд этических и символических форм и ценностей, которые взаимно поддерживают и защищают человеческое достоинство, культурные и лингвистические барьеры. Я подчеркиваю – защиту достоинства, а не терпимость, потому что терпимость может свести все на нет безразличием».

Все это мы сейчас и наблюдаем – не всегда осознавая причины и связи.

Ангел теряет форму

Суждения, которые кажутся новыми, оригинальными, со временем оказываются общими местами. Вдруг обнаруживаешь, что и другие говорят примерно то же. (Перечитывая недавние свои размышления о современной ситуации, политической, культурной, духовной.) Неповторимым может быть лишь художественный образ.

Ангел теряет форму, давно ему не с кем бороться.

Слегка пополнел, облысел, крылья трачены молью.

(Кто-то сказал бы: временем, но его для ангелов нет).

В кафе «У Иакова» под стеклом показывают перо,

Найденное при раскопках – сохранилось на удивленье.

У игровых автоматов азарт: новинка «Борьба с неизвестным».

До приза никак не добраться. Победа, кажется, близко –

Опять game is over. И приз остается загадкой. Знать бы приемы.

Приходится пробовать снова. Зато выброс адреналина!

(И доход заведению). В задней комнате полусумрак.

Запыленные переплеты на полках – собрание старинных снов.

Дым сладкого курева в воздухе загустевает, обещая видения.

В этих местах они, говорят, непростые, здесь проходит разлом,

Геологический и духовный, что-то вдруг может открыться.

Ангел приноживается, вдыхает. Виденья даются каждому

По способностям, по готовности к встрече, к прорыву

За доступный предел.

Но как же сладко растечься!

Кстати, уже почти завершив этот верлибр, я вспомнил переведенное Пастернаком стихотворение Рильке «Созерцание» и снова перечитал его по-русски и по-немецки. «Так ангел Ветхого завета нашел соперника подстать». Бессознательная переключка. Я, право, об этом не думал. И как непостижимо гениален перевод!

Калейдоскоп

Объявление на дверях церкви: «При входе в храм отключать пейджеры и мобильники».

На стене церковной лавки 10 заповедей дополнены списком грехов, за которые надо каяться на исповеди. Нарушением заповеди «Чти отца своего и мать свою» считается, среди прочего, «неуважение к светским начальникам». Кто придумал эти толкования? Не Моисей и не Христос, конечно. Можно представить, как в советские времена кто-то признавался священнику, что не любит Сталина.

Старушка-служительница, не дожидаясь конца панихиды, собирала свечные огарки в полиэтиленовый пакет. Наклонилась, расстегнула молнию матерчатого сапожка, засунула туда полученную от кого-то денежную бумажку, застегнула молнию.

Надпись на стене: «**Ма**чи хачей, спасай Россию». И еще в таком же духе: «Слава России, смерть врагам» и пр.

Мужчина в метро достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул, стал перечитывать. Хранит что-то важное для себя. Я заглянул в крупный заголовок: «У поп-звезды нет денег на операцию».

Вводя в компьютер записи времен «антиалкогольной кампании», пытался с Галей вспомнить: что мы тогда пили? Вспоминались часовые очереди, талоны, ограничения – но что мы пили? Вспоминались какие-то наливки, «бормотуха» (наш знакомый однажды пролил ее на рукопись – и бумага «сгорела»). А было ли вино, без которого сейчас не представить нашего быта? Кажется, в Столешниковом переулке можно было иногда купить «фетяску»... И вот сегодня к нам приехал в гости Валерик – вдруг вспомнили: он приносил нам флакон спирта из Института физпроблем, мы его разводили. Вспомнили самогон, который готовил Олег... Вот память!

Из газетного интервью (А. Р.). «Я родился и вырос в Мытищах. Так вот, класс, который на два года старше меня, весь на кладбище лежит. Кто в перестрелках погиб, кто от дешевой водки умер... от нищеты, от нереализованности».

Гале позвонила ее красноярская одноклассница К. Время назад произошла катастрофа на иркутском аэродроме, почти в городской черте. На месте аэродрома были когда-то дачи НКВД, там работал сторожем брат ее деда. Он под большим секретом рассказал жене, что в это место каждую ночь привозили людей и расстреливали. Аэродром стоит на костях убитых. К., может быть, последняя, кто знает об этом. Сейчас там собираются установить мемориал в память жертв катастрофы, она хотела бы сказать про другие жертвы, советовалась, с кем можно связаться.

«В любом из здешних мест, / куда ни обернешься, / ставь свечу и крест, / и ты не ошибешься» (Ю. Ким). С каждым годом открывается все больше и больше. Страшная страна. Самое страшное, что мы живем на костях и не хотим знать, не хотим вспоминать.

Заглянул в роман Набокова «Смотри на Арлекинов!», раскрыл на странице, где герой с подложными документами летит в Советский Союз. Сам Набоков, как известно, эту свою фантазию не осуществил, советские впечатления описывает с чужих слов, и как же они тошнотворны! Толстые грубые стюардессы окружены ароматом лука и мерзких духов «Красная Москва», на обед шпроты с водкой, глинистая вода из крана в гостинице – и, конечно, тотальная слежка. Роман вообще мне казался неудачным, эти страницы вызывали усмешку. Не такая была у нас жизнь, мысленно возражал я, так же мысленно перебирая, что мог бы его впечатлениям противопоставить.

И вдруг растерялся: что, в самом деле? Советский быт, коммунальный, деревенский, провинциальный? Советский общепит? Советские магазины? Тогдашнее советское кино? Литературу?

Живопись? Не гениев же, уничтоженных, растоптанных, загнанных в подполье. Советский балет, шахматы, романтизм комсомольцев-идиотов (одним из которых был я)?

Вспомнил, как в Париже Гиршович объяснял мне, почему считает гением Сорокина: он показал, в какой мы жили выгребной яме. Ничего не поделаешь, есть в этом своя правда.

Хотя, конечно, не вся, иначе мы бы просто не выжили, остались бы неизлечимыми идиотами. Были обычные человеческие отношения, любовь, природа, искусство, способность отгораживаться от окружающего безумия в своем мире. Хотя ужас, безумие, насилие в любой момент могли в этот мир ворваться.

Лопаются пузыри на волнах, миг – и нет их, сменяются, обновляется пена, ничто не остается навечно. Эти мгновения жизни обретают, сохраняют реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах, памяти. Достоверно запечатленное, сохраненное внутри.

Нечаянное воспоминание

Один из читанных в эти дни авторов сокрушается о распаде Советского Союза: потеряна прежняя единая родина, часть живет в России, часть на Украине. Я подумал: а что случилось после распада Австро-Венгерской империи? Брат жил в Праге, сестра, как и раньше, в Вене, ну и что? Как ездили друг к другу, так и продолжали. Кафка говорил по-чешски, дружба только по-немецки – но проблем не возникало. Проблемы были другие: кризис, депрессия, инфляция, безработица.

По какому-то сцеплению мыслей вдруг вспомнилось, как я, турист, шел по Карпатам (места между горой Говерлой и Мукачевом), по бывшей польско-австрийской, кажется, границе – там на горах оставались бетонные столбики. И во множестве лежали кости, черепа не захороненных после войны солдат, наших ли, немецких – каски не помню чьи. 1957-й год, 12 лет после войны, в Москве фестиваль молодежи. Председатель сельсовета, к которому мы пришли отметить нашу маршрутную книжку (подтвердить, что мы были здесь), доставал припрятанную печать: «Надо прятать от бандеровцев», – пояснил с усмешкой. Говорили, кто-то еще прятался в лесах. В поезде по пути я сфотографировал впервые увиденный мной тоннель, кто-то из пассажиров донес, подошел человек в штатском, засветил пленку. В местном поезде пассажир пиликал на скрипке – здесь этот инструмент встречался, как у нас гармошка. Иногда пели. Одну песню я, как ни странно, могу сейчас записать по памяти, не совсем по-украински, конечно:

На высокої полонині¹
Вітер завиває.
Сідіт чабан на колоде,
Думку думає.

А я себе куплю тримбу²,
Аби бути босу,
Нехай тримба затримбає
Коло мово носу.

Как-то нас подвезли по узкоколейке на старинном паровозе, еще австрийском. В одном доме нам разрешили переночевать на сеновале. Я предложил хозяину поколоть для него дрова – любил это занятие, каждую зиму колот у себя в Лосинке. Но такого удовольствия я больше никогда не испытывал. Гуцульский топор с узким острым лезвием на длинном, необычайно удобном топорщице, буковая колода рассыпалась как будто сама, почти без усилия, не было сучков, тесных мест (надо вспомнить слово), в которых увязал топор. Мог бы махать без конца, как во сне, но заготовленные колоды кончились.

На горных тропах там еще встречались распятия. Однажды мы спросили дорогу у встречного – похоже, венгра, он не говорил по-русски. Повесил торбу на сук, налегке провел нас вверх, до перевала, откуда можно было показать направление.

¹ Полонина – луговина в горах

² Тримба – трембита, гуцульский духовой инструмент

Как-то на дороге мы нашли остаток кожаной обуви, постела, кто-то из ребят прикрепил его к палке, понес, как флаг. Встречный гуцул счел это за обиду, сказал: «Москва тоже в постелах ходила».

Ночевали мы обычно в каких-нибудь общественных зданиях, школах, клубах, в клубах иногда выступали. Местные жители благосклонно выслушивали нашу студенческую – а впрочем, столичную самодеятельность. С одним завклубом я потом некоторое время переписывался. Его звали Федор Кампов, у меня сохранились его письма, надо как-нибудь посмотреть. Жаловался на убогость жизни, нищенскую зарплату, на антисоветскую, «националистическую» настроенность местного населения. Он был здесь, как я понял, русским, не своим.

Во Львове я заглянул в католический собор, служба шла на латинском языке. Поляки поглядывали на меня молча. Помню средневековую площадь, старинную аптеку – чтобы оценить такие впечатления, надо заранее что-то понять, знать.

Кто-то из наших решил там постричься в парикмахерской, мы зашли за компанию. Парикмахер нас прогнал: чтобы не отпугивали клиентов, подумают, что очередь. Это был парикмахер-частник, там такие еще сохранились.

Ночевать мы попросились в заведение для малолетних преступников на окраине. Пока наш руководитель договаривался с начальством в помещении, один пацан на крыльце лениво со мной разговорился. «А знаешь, – спросил, – что такое штопор?» – «Штопор – это то, чем открывают бутылки», – ответил я. «Штопор – это человек, который за копейку убить может», – объяснил презрительно. Не помню, там ли мы заночевали.

Всплыли воспоминания – решил их записать. Тогдашние дневники я, слава богу, уничтожил. Любовных впечатлений у меня тогда не было. А ведь 20 лет. Ровно 50 лет назад.

Введя в компьютер давнюю запись, я решил достать письма Федора Кампова, культработника из закарпатской деревни: оживут ли воспоминания 50-летней давности (1957-59)? Оказывается, я их уже когда-то просматривал, кое-что подчеркивал на полях, пытаюсь извлечь сюжет.

«Отвечаю на некоторые вопросы твоего письма. Уходят ли сейчас с колхоза? Уходят. Только не думай, что навсегда уходят. Дело в том, что в город не так-то легко приписаться. Некоторым удается – те уходят на работу, скажем, на фабрику, завод и т.д. Другие находят любую черную работу, где не очень-то требуется приписка, скажем, грузят на какой-нибудь базе. Такие люди работают временно... только б в колхозе не работать. Такие люди, на жаль, еще бывают у нас сейчас».

«Еще раз объясняю, что ты не поймешь меня. Ведь ты историю Закарпатья мало знаешь, каким путем оно дошло до освобождения, какие люди остались».

В том же году он поступил во Львовский культпросветтехникум. «Стипендию нам дают по 190 руб.³ в месяц, но там еще за общежитие и другие вещи отсчитывают, так что чистых на руки получается 160-170 руб. А возможно ли в Львове, да и вообще в городе, где кроме воды, ничего не достать, прожить человеку? Только при помощи родных ты можешь жить, вернее, не жить, а дышать с дня в день. А что требовать от отца, которому скоро 70, да еще заболел, а дома 2 ребята, которых надо одевать, кормить и т.д. Нащел жизни у меня плохо. Но я не здаюсь и не здамся пока сил хватит и пока воостатнее сердце бьется в груди». (10.9.57)

А потом неудача с поступлением в университет, отчаяние. Родственники его шпыняли: не все же учиться – надо работать, жить. Судя по словам его писем, я его подбадривал, призывал держаться – стыдно было бы сейчас перечитывать. Посылал ему денег, 40-50 руб., судя по его благодарностям. И при том реальную жизнь по этим словам невозможно представить.

У меня залежались еще пачки давних писем – зачем их хранить? Кто после меня будет их разбирать? Буду понемногу выбрасывать, как выбросил старые рукописи и дневники.

Похороны интеллигенции

Интеллигенцию все продолжают хоронить. Это чисто российское понятие, говорят, себя изживает. Пронеся кое-как сквозь советское время «веру в разум истории и гуманизм культуры», под конец XX века русская интеллигенция не выдержала испытания долларом, «утратила самоидентификацию».

³ Надо, наверно, напомнить, после 1960 года это стало равняться 19 руб.

Н. М., наш знаменитый кинорежиссер, вспомнив скрытое до поры происхождение, называет себя не интеллигентом – аристократом. А мне вспомнилось, как он помогал попасть в Государственную думу циничному нуворишу Б. – конечно, за деньги, которые нужны были для его нового фильма. Современный деловой человек, актер, обрабатывающий свое угложение на корпоративных вечеринках, может поступать, скажем так, практично, не сверяясь с кодексом чести. Но аристократ?

(В двадцатые годы академик Вернадский писал, что судьбу страны решает не масса, а элита. Но он тогда имел в виду самоотверженных деятелей науки, культуры, знающих, что такое служение, не служба. Поташнивает, когда сейчас этим словом называют деятелей шоу-бизнеса, нуворишей, продажных политиков.)

Само понятие интеллигенция с самого начала не отличалось четкостью, определения, множась, все более размывались. Иронически перебираются свойства этой категории: сосредоточенность на духовных материях при подчеркнутом равнодушии к быту, «патерналистская» забота о народе и его просвещении. Принадлежность к интеллигенции (функция которой – критически осмысливать происходящее) в России почти неизбежно означала противостояние власти. (Цитирую без вкавычек.) В неспособности русской интеллигенции наладить плодотворное сотрудничество с властью видится едва ли не основная причина катастрофы, постигшей Россию в начале XX века.

С некоторых пор об интеллигенции стали говорить как о «жреческой корпорации секуляризованного мира», третьем – вслед за языческими волхвами и православными священниками – поколении «колдунов», как о некоем полумасонском ордене, принадлежность к которому «наделяет волнующим чувством избранности».

Чего никогда за мной не водилось, так это чувства избранности. Да и «патерналистской» заботы о народе. Общих проблем я давно решать не берусь, поняв, что есть дела, которыми должны заниматься профессионалы.

С профессионалами в России всегда было неважно. Не говорю о политиках или экономистах. В Европе издавна пользовались уважением цеховые мастера, колбасники и ткачи, люди, сознававшие свое достоинство и не требовавшие указующих поводырей-просветителей. Пикассо расплачивался картинами со своим портным: мы оба художники. У нас почти исчез как раз вот этот, средний, мастеровой слой: «высокодуховные» личности парили где-то у себя в высях.

И при всем том – я до сих пор считал бы для себя честью право называться интеллигентом. Не просто профессиональным интеллектуалом.

Время от времени пробую уточнить собственные определения. Одним из признаков интеллигентности можно бы назвать соединение культуры внутренней и культуры внешней, независимо от рода занятий и образовательного ценза. Я встречал интеллигентных крестьянок и неинтеллигентных профессоров.

Но для меня это понятие предполагает еще и некий внесословный, «интеллигентский» кодекс чести. «Присяга чудная четвертому сословию», которую подтверждал Мандельштам, человек, при всей своей житейской нелепости бывший воплощением подлинного, духовного аристократизма.

Хотя какие теперь сословия? В советское время интеллигенцию называли даже не классом – прослойкой.

Интеллигенты все-таки узнают друг друга.

Недавно вдруг подумалось, что интеллигентность связана с особым религиозным мироощущением. Вне конфессий: интеллигент – скорей человек свободомыслящий. Но он чувствует, что есть нечто выше его. Что не все позволено. Сам не вправе себе позволить.

Писатель и власть

Литераторам предложено порассуждать на тему «Писатель и власть». Очень по-русски сформулировано.

Писатель имеет к власти такое же отношение, как любой гражданин страны. Для американского писателя это вряд ли проблема. Когда президент Кеннеди пригласил на свою инаугурацию Уильяма Фолкнера, тот, помнится, ответил, что у него нет дел в Вашингтоне. Старенький Роберт Фрост не отказался, поехал. А почему бы нет? Он был приглашен по тому же разряду знаменитостей, что кинозвезды, спортсмены и прочие.

В былые времена поэты и драматурги кормились при дворах. Пушкин, одним из первых у нас начавший зарабатывать литературным трудом, от власти предпочел бы держаться подальше.

Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать.

Велика ли была для него радость уже не в юном возрасте оказаться произведенным в камер-юнкеры? Но официальную записку «О народном воспитании» он по распоряжению Николая I составил. Дворяне обязаны были служить. Жуковский воспитывал царских наследников. Державин был губернатором, сенатором, министром. Как-то Андрей Синявский, говоря со мной о Маяковском, книгу про которого собирался писать, вспомнил державинскую оду «К Фелице»: «Разве можно упрекать поэта за восхваление власти?»

Но Маяковский, пожалуй, все же другое дело. Как и особый советский опыт отношений с властью. «Власть отвратительна, как руки брадобрея», — чувствуется, как передергивало Мандельштама, когда он проговаривал эти строки. (Люди, не брившиеся в прежних парикмахерских, вряд ли представят телесное прикосновение чужих холодных пальцев к лицу).

Попробовал бы советский писатель отказаться от правительственного приглашения! Да он сам мечтал о внимании власти, по инерции примеривая к себе слова: духовный авторитет, учитель жизни, властитель дум.

Помнится, в советские времена, да и позже я пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Ведь обсуждали же мы в разные годы животрепещущие проблемы с такими умнейшими людьми, как Натан Эйдельман, Давид Самойлов, Григорий Померанц, Вадим Сидур, Леонид Баткин, Вячеслав Вс. Иванов, Владимир Лукин. Объяснить бы Горбачеву, Ельцину то, что нам кажется очевидным, — может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной стали делать. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры по-человечески дружили с Генрихом Беллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали — наверно, не без пользы для себя, да и книги читали, и этих писателей называли там совестью нации.

Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не говорю о людях власти — они, как сказал мне однажды Натан Эйдельман, думают другим местом. Не говорю о том, что к реальному развороту событий даже умнейшие из нас не вполне оказались готовы. Перечитывая записи тогдашних разговоров, то и дело покачиваешь головой. Политические манифесты Солженицына — и те остались не более чем литературной публицистикой. А тот же Белль, не принимавший политики христианских демократов, которые привели страну к расцвету, тот же Грасс, призывавший не торопиться с объединением Германии! Неловко перечитывать.

Мы, пожалуй, еще не вполне осознали, насколько в новом тысячелетии изменились представления не только о политике, об истории, об экономике — о самой жизни.

Писатель и власть? Драматург Вацлав Гавел, ставший президентом Чехии, писать, кажется, перестал. Но власть может быть темой писателя. Я как-то переводил главы из книги нобелевского лауреата Элиаса Канетти «Масса и власть» — замечательное исследование. Канетти осмысливал общечеловеческие, антропологические проявления власти. Власть как насилие человека над человеком. Власть политическая, власть духовная. Власть человека, просто задающего другому вопрос: почему-то спрашиваемый словно вынужден, считает себя обязанным отвечать.

С темой власти связаны представления об этических, нравственных, да и эстетических ценностях. Томаса Манна отталкивала от Гитлера, помимо всего прочего, его пошлая низкопробность, неэстетичность фашизма. Говоря обо всем этом людям (в том числе и людям власти, если там, наверху, кто-то еще читает книги), писатель влияет на состояние умов и душ, а значит, и на человеческие судьбы, на ход событий, даже если он об этом не помышляет — самим своим существованием.